

[Оглавление](#)

**Лидия Волконская**  
**Прощай, Россия!**  
**(Моя жизнь)**  
**ЧАСТЬ II**  
**Глава 8. Князь Волконский**



Первую зиму в Польше, белую, засыпанную глубоким снегом и морозную, мы провели, собравшись, наконец, все вместе в теплой кровле родительского дома. После пережитых нами горестей и опасностей, каждый зализывал у кого глубокие, у кого небольшие, и уже заживающие раны. Под все сковавшею, все спрятавшею, пеленою снега наступила тишина и спокойствие.

С приближением весны, стали тревожить мысли о возможном возобновлении военной и политической борьбы. Но когда весной эти опасения не подтвердились, а наоборот, порядок мирной жизни, установленный за зиму, укрепился, то у всех появилось желание и энергия налаживать и улучшать свое существование. Чтобы поднять, много раз разоренное хозяйство Ромеек, папа продал имение под Ковелем, от которого Володя отказался.

За зиму, папа успокоился и поправился. Встретив как-то меня с Лелей, блуждавших со скучающим видом по саду, он сказал:

- И что это вы все бродите и бродите, ничем не займетесь?

- А чем же здесь в Ромейках можно заняться, - спросила я с недовольным видом.  
- Как это чем? В Ромейках, да еще теперь, есть масса всякого рода дел. Вот возьмите какую-нибудь отрасль хозяйства и развейте ее; ну, хотя бы садоводство, огородничество, или молочное хозяйство, - все это очень, может вас занять и принести большую пользу, - говорил папа, но вряд ли и сам он надеялся, что мы этим займемся. И, действительно, такого рода занятия нас не особо привлекали; и я даже с испугом подумала: "Это сделаться, как Вера и всю жизнь провести с курами и коровами. Нет. Не хочу, ни за что не хочу".

В конце весны приехал Неревич навестить свою, жившую по-прежнему в Ромейках, семью. Он служил теперь у одного крупного коммерсанта еврея. Неревич между прочим, сказал, что у него в Варшаве есть большая и хорошая комната с ковром, картинами, пальмой. Он ее держит потому, что она дешево стоит, и он иногда там останавливается, а мне он предложил:

- Если вы когда-либо соберетесь в Варшаву, то пожалуйста, эта комната к вашим услугам. Можете жить там сколько угодно.

- Папа, как вы думаете, есть ли в Варшаве Художественная школа? - спросила я на другой день папу.

- Я думаю, да, наверное есть, - ответил он.

- Интересно было бы все же узнать, какая Художественная школа есть в Варшаве, - другой раз, будто невзначай опять заметила я.

Задумавшись, папа пропустил мимо ушей мое замечание. Но я не сдавалась.

- Леля, пойдём посидим на крыльцо, на дворе так хорошо сейчас, - предложила я через несколько дней, когда мы, прибрав после ужина посуду со стола, вынесли ее в кухню. Уже совсем стемнело. За домом, позади аллеи из верб, скошили днем сенокос и теперь вся усадьба стояла, оваянная запахом свежескошенной травы и какой-то грустною тишиною. Нарушало ее только чирикание, где-то спрятавшегося сверчка. На крыльцо вышел и папа. Опершись рукою о балюстраду, он оглянулся вокруг и, с наслаждением вдохнув струю ароматного воздуха, сказал:

- Какая благодать!

- Да, что пользы во всей этой благодати, - заметила я в раздумье после короткого молчания.

Из-за сада поднялась луна и осветила фосфорическим блеском белые стены дома, ступеньки крыльца, колонны, папину руку и наши склоненные головы.

- Разве тебе не нравится? - с удивлением спросил папа.

- А что здесь может нравиться... - Сидеть вот тут на этой скамейке, глазеть на луну... бессмысленно, на деревья - видеть всего этого не могу. Надоело, - бросала я папе придирчиво, как будто он был в чем-то виноват.

Папа, мой добрый, милый папа не понимал, как глубоко волновал меня этот вечер поздней весны. Будил он во мне тревогу и о моей проходящей молодости, будил желание личного счастья, любви; заставлял стремиться к этому, искать его, не давал покоя.

- Мы вот с Лелей хотели бы поехать в Варшаву, - продолжила я, уже более смягченным тоном. Лелю мне не трудно было уже заранее к этому подготовить.

- В Варшаву? - удивился папа.

- Да, в Варшаву, - подтвердила я. - Я поступлю в Художественную школу. Комнату нам предлагает Семен Гаврилович, а питаться можно будет в русской столовой, открытой для беженцев. Это не будет дорого стоить.

- Теперь? В Варшаву! В пыльные, душные улицы, в темную заваленную старым барахлом комнату, в несчастную беженскую столовку! Удивление... - только руками развел наш бедный папа.

- Ну, а ты, Марусенька, тоже хочешь в Варшаву? - спросил папа, вышедшую в это время на крыльцо Марусю.

- Я? Чего? - фыркнула, заморгав глазами и как бы возмущившись, Маруся.

Она ничем не походила ни на Лелю, ни на меня. Высокого, сильного сложения с серыми небольшими глазами и с правильными чертами ровного цвета лица, Маруся была недурна собой, но как-то незаметна. Очень застенчивая и тихая, она редко когда с кем-либо разговаривала, разве только что с Лелей. Если к ней обращались, она отвечала отрывисто:

- Да, нет, чего? Не знаю, - и фыркала - фр... фр..." - как бы сердясь, что ее беспокоят ненужными вопросами и обиженно моргала глазами.

В характере Маруси было что-то замкнутое и своенравное: с неприятными ей обстоятельствами и людьми, она как бы отказывалась считаться, даже понимать их, представляясь, что никого и ничего знать не хочется и, что ее никто и ничто не касается. Другими словами, она пряталась от жизни, очевидно боясь ее.

- Ах, беда мне с вами, беда. Селедки вы, настоящие селедки, - стараясь шутить, продолжал папа.

- Лида - копченая, Леля - маринованная, а Маруся - соленая.

Это так остроумно нас характеризовало, что забыв о Варшаве, мы начали весело смеяться.

И все же папе так и не удалось отговорить нас, и в конце лета, мы с Лелей уехали в Варшаву.

В Художественной школе старшие классы были еще не открыты и я "пока что" поступила с Лелей в балетную. Надо было чем-то оправдать наше пребывание в Варшаве. Обедать мы ходили в русскую столовую, которую нам указал Неревич.

В один из первых дней, когда мы стояли с Лелей там на лестнице, к нам подошла наша новая знакомая, Ксения. Она была необыкновенно низенького роста, с хорошеньким кукольным лицом, длинными косами и мечтала сделаться балериной.

- Посмотрите, там ниже на лестнице стоят двое молодых людей, - сказала она, - видите?

- Да, видим.

- Это князь Волконский, - добавила она, не объясняя который.

Один из них, в меру высокий, брюнет южного типа, с крупными и довольно красивыми чертами лица, стоял, уставившись своими зеленовато-карими глазами с видом изумленного глубокомыслия, в одну точку. Он, казалось, был очень доволен собой.

Второй, по типу северянин, был немного выше первого, очень стройный с тонкою талией, широкий в груди и плечах. Одет он был в военную форму и держался по-военному, прямо, с слегка закинутой назад небольшой головой. Цвет лица его был свежий, глаза синие, глубоко сидящие, а волосы темные. По его тонким, с чувствительными ноздрями, чертам лица пробежало порою нервное подергивание, чуть заметное. Подняв брови и наморщив лоб, он слегка саркастически улыбался, бросая вокруг живые, веселые взгляды.

Почему-то я сразу догадалась, кто из них был Волконский.

- Герой не моего романа, - сказала я, шутя, - не люблю веселых мужчин. Мужчина должен быть серьезным, а у князя не только веселый, а можно сказать легкомысленный

вид.

- Вот забавно, - сказала Ксения, - он о вас тоже сказал, что-то похожее: "Это, - говорит, - барышня, с которой я не хотел бы познакомиться".

- А мне, наоборот, он очень нравится, - продолжала она и через несколько минут призналась, что сильно им заинтересована.

Недели через три со мной приключилась странное явление, на которое я тогда не обратила внимания.

Проходя с Лелей в столовке, между двумя рядами наполовину занятых столов, я поглядывала, куда бы нам сесть. При моем рассеянном взгляде, скользнувшем по поверхности одного пустого стола, у меня осталось впечатление лежавших на его краю, каких-то предметов. Почему-то они почудились мне давно-давно знакомыми и даже как бы моими. Не обратив внимания ни на эти предметы, ни на ощущение им вызванное, я машинально села недалеко от них за стол. Только через минуту подошел Волконский, я с удивлением заметила, что вещи, казавшиеся моими, были его перчатки и фуражка. Извинившись, он забрал их и отошел.

В один поздний осенний вечер, мы стояли с Лелей на трамвайной остановке, напряженно вглядываясь в номера приближавшихся трамваев. Было сыро, холодно. К подошвам липли опавшие листья. Темный ветер торопил редких прохожих домой, подергивая их за полы пальто и срывая шляпы. Две линии блестящих, как бусы на рождественской елке, фонарей тянулись по сторонам улицы и суживаясь, уходили в даль. Оттуда временами выползали неясные очертания трамваев.

- Восьмерка, опять, - заметив один из них, разочаровано сказала Леля.

- Нет, это наш, тройка, - обрадовалась я.

Внутри полно народа, но по близости освободилось два места. Мы быстро их заняли.

Когда я подняла глаза, то увидела, что против нас сидел князь Волконский.

Меня будто что-то подзадорило и, чувствуя к тому же некоторую неловкость от сидения напротив, я обернулась к Леле и сказала, вернее прошептала так, чтобы князь не слышал.

- Не вертись, сиди тихо; тише едешь - дальше будешь.

Прыснув от смеха, Леля сказала:

- Не смейся, перестань, дома будешь...

- Да что дома, дома одна гордая пальма растет, а здесь... посмотри, ну посмотри какой...

- и не зная, что сказать, но стараясь оправдать неуместный смех, продолжала молоть, что само шло на язык, - видишь какой здесь виноград.

- Чего вы смеетесь, - спросил не выдержав князь, - что-нибудь у меня не в порядке?

- Ах что вы, нет. Вы тут не причем. Я просто пошутила: сказала сестре, что здесь виноград, - она и смеется.

- Какой виноград? - спросил, улыбаясь, князь.

- А... а такой как в церкви. Не слышали разве вчера, как архиерей, перекрестив свечками народ, сказал: "Воззри на виноград сей..." Ну, вот, мне показалось, что здесь такой самый виноград.

- К тому же всякий, - подхватил, смеясь, князь, глянув украдкой на пассажиров, которые ухватившись за петли трамвая, были на самом деле похожи на висячие гроздья. Весело болтая и поддерживая чушь, которую я несла, князь пропустил свою остановку, сошел на нашей, проводил нас к дому и, прощаясь у входа, сказал, что надеется видеть нас завтра в столовке.

На другой день, когда я с Лелей вошла в коридор столовки, то сразу заметила ожидавшего князя. Он быстро подошел к нам. Сели вместе обедать. Во время обеда, я всеми силами старалась быть как можно более занимательной. У меня было тайное желание доказать Волконскому, как он ошибался, не желая со мной познакомиться. Мне это вполне удалось, так как с тех пор он постоянно обедал только с нами.

Потому так получилось, что мы раз вечером пригласили князя зайти к нам. С той поры, он каждый вечер начал проводить у нас. Я думала, что у него никого нет в Варшаве, что он один и ему некуда пойти. Оказалось, что причина его частых посещений была другая. Волконский хотел отвлечься от переживаемой им тогда сердечной драмы. Он порвал с девицей в которую был сильно влюблен. Она в кругу его знакомых выразила предположение, что он может быть самозванцем. Его приятели передали ему об этом. Князь был так обижен и оскорблен, что все ее попытки встретиться и объясниться, отклонил категорически и, ни разу не повидавшись, порвал раз и навсегда.

Князь Валентин Михайлович с первых же дней нашего знакомства, стал ухаживать за мной, стараясь завести флирт. Я понимала, что это его обычная манера обращения с барышнями и не придавала никакого значения его ухаживаниям, отвечая ему в тон шутя и весело.

- Разрешите привести к вам одного моего знакомого, - предложил князь, недели через три после нашего знакомства.

- Имя его Михаил Алексеевич де Вассаль. Он не совсем русский. Род его происходит из Франции, но уже три, а может и четыре поколения они прожили в России и совсем обрусели. Он считает себя русским. Но по моему, он смахивает на кавказца, "ишака", - пошутил Валентин Михайлович и продолжал:

- Они были богатые, имели большое имение в Крыму, но теперь, понятно, все потеряли. Он гусар Гродненского полка, кончил Николаевское кавалерийское; на войне почему-то не был и в гражданской тоже не участвовал. Здесь он совсем один и очень тоскует, так как недавно развелся с женой. Михаил Алексеевич просил познакомиться его с вами.

Де Вассаль оказался тем самым молодым человеком, которого мы видели первый раз с князем на лестнице столовки.

Де Вассаль очень был рад попасть в нашу веселую компанию, и также как Волконский стал приходить к нам почти каждый вечер. В столовой мы все четверо обедали всегда вместе и присвоили себе отдельный, постоянный стол. В праздники куда-либо отправлялись, а вечерами в нашей комнатке весело болтали, хохотали и украдкой целовались. Подружившись, стали почти неразлучны, называя друг друга по именам.

Де Вассаль очень любил говорить о себе. Говорил он с самодовольным, но прикрытым фальшивою скромностью, хвастовством. Начинал он обыкновенно скромно и, снисходительно посмеиваясь над своими якобы слабостями и недостатками, но через несколько слов они превращались у него в большие достоинства.

- Вы заметили, какая у меня смешная и глупая привычка; когда я смотрю, когда я смотрю, я слегка прикрываю глаза, как бы от солнечного света. Вот так, - сощурившись, он

устремил взгляд в невидимое пространство. - А знаете почему? Это, когда скачешь на коне в степи, то поневоле щуришься, глядя в даль. Степи-то у нас в имени, все знают, необозримые. А лошадей сколько, а какие! Смешно и говорить. Вы бы видели: это не то, что какие-то московские "ваньки", - заканчивал он, искоса бросая на князя осторожный взгляд, обозначающий: "где уж тебе нам равняться". Но князю и в голове не было оспаривать это превосходство де Вассалья, которое он старался всеми силами изобразить.

Волконский только снисходительно и шутивно посмеивался.

Однако, привыкнув, мы стали скоро не замечать этой хитрости де Вассалья и, подчиняясь большому апломбу, с каким он всегда говорил, начали принимать его самовосхваление за чистую монету. Впрочем, по его внешнему виду, он старался соответствовать тому, что о себе говорил, а что кроется в глубине души каждого человека, кто может знать? У де Вассалья потом это выявилось.

В противоположность де Вассалю, Валентин Михайлович никогда не говорил о себе. Не любил он вспоминать о прошлом.

- Мне неприятно, больно вспоминать, и зачем? Ушло и никогда не вернется, лучше забыть, - говорил он.

Мне иногда хотелось узнать его прошлое, но чувствуя, что это нетактично, я не спрашивала. Все же, поневоле к слову или в соответствующем настроении Волконский вспоминал то один, то другой случай или период его жизни и постепенно у меня сложилась довольно полная картина его жизни до встречи со мной.

Счастливое детство и юность, Волконский провел в богатом родительском доме в Москве. В семье, где было только двое детей, он и младший брат Александр, Валентин Михайлович был кумиром. Мать и брат обожали его. За его веселый, общительный характер ему все прощалось, все разрешалось. Учился он в Первой мужской гимназии. Несмотря на плохое прилежание, он был одним из первых, благодаря большим способностям и помощи репетиторов, заставлявших его заниматься. Он очень рано отдавать свое свободное время всякого рода светским развлечениям: балам, ресторанам, ухаживаниям за девицами и дамами.

Окончил он гимназию с золотой медалью. Но дана она ему была с некоторой натяжкой для того, чтобы облегчить поступление в Морской Корпус. Валентин Михайлович, таким образом отвечая всем очень высоким требованиям, был принят без затруднений. Но ему в Корпусе сначала не понравилось, и он перешел в Николаевское Кавалерийское. Там ему тоже не понравилось, и он пожелал вернуться в Корпус. Его приняли, но упрекнули, что нельзя менять школы, как перчатки.

После производства в мичманы, Волконский был отправлен в Черноморский флот. Это было уже в 1917-ом году и при Временном Правительстве. Князь вспоминал, как он, в числе других, ночью подкрадывался на шлюпках к вражеским кораблям. За одну из таких экспедиций он был представлен к награде. Происходило это уже во время революции. Остаться дольше во флоте было невозможно, пришлось бросить службу и вернуться домой в Москву. Москва оказалась в разгаре революционного движения. Повсюду на улицах и в домах шли жестокие преследования и убийства офицеров. Для спасения жизни молодым Волконским пришлось немедленно оставить родительский дом и бежать из Москвы.

Самое опасное было пробраться через вокзал, где каждый подвергался очень строгой проверке революционеров. Всякого рода переодевание легко обнаруживалось, и дело

часто кончалось трагически.

"Переодевайтесь, маскируйтесь, как хотите, все равно от нас не спрячетесь. Мы вас по одному вашему запаху узнаем" - говорили красные. Но выхода братьям Волконским не было. Надо было рисковать. За большие деньги и с большим трудом удалось достать матросскую форму, на шапке которой стояло название известного революционного корабля.

- В распахнутой на груди матросской блузе, в одетой набекрень шапке, с гранатой за поясом на одном боку и с наганом на другом я, - рассказывал посмеиваясь Валентин Михайлович, - расталкивая локтями направо и налево толпу, ругаясь и прикрывая собою Шуру, пробирался к выходу. Там контроль - несколько дюжих солдат:

"Документы!" Сделав свирепое лицо, я со всей силы отшвырнул одного, а других громко и звонко крича, обложил такую трехэтажную бранью, что даже они вытаращив в испуге глаза попятились. Я прошел, таща за собой Шуру, признанный ими за несомненную "красу и гордость революции". Слушая этот рассказ, я не могла подавить впечатления, что князь, ради красного словца, сгустил краски. Трудно было его себе представить, говорящим даже самые невинные ругательные слова.

Волконские решили пробираться в родительское имение в Воронежскую губернию. В Липецке их узнал на вокзале прежний повар.

- Князь Волконский! - услышали они его удивленно-торжествующий голос.

Валентин Михайлович сделал вид, что это не он и, юркнув в толпу, они с Шурой скрылись. Повар не преследовал. Однако дня через три-четыре их предупредили, что в Липецке известно об их пребывании в Княжьих Борках (название имения) и что собираются приехать их арестовать. Пришлось опять бежать. Один из крестьян вывез братьев на телеге, прикрыв целою копною сена, под которой они едва не задохнулись. После этого ничего не оставалось, как пробираться на юг, где в то время формировалась Добровольческая армия.

Воспоминания о Добровольческой армии связаны у князя с очень тяжелыми переживаниями. С братом там его разлучили. Шуру определили в кавалерию, а Валентина Михайловича на бронированный поезд, на котором он принимал участие в боях против красных. Получив первый отпуск, он отправился в Астрахань, где заболел брюшным тифом.

- Вы бы меня не узнали; теперь от меня и половины не осталось от того, каким я был до болезни, здоровый, сильный, широкий. Наши добровольцы прозвали Буйволо-Лошадинский, - рассказывал князь.

Благодаря исключительно хорошему здоровью он скоро поправился и вернулся на фронт.

Уже под конец гражданской войны, князь был ранен и, не оправившись еще от раны, схватил сыпной тиф.

Где и что с ним было потом он не знал, так как долгое время находился без сознания. В памяти остались отдельные моменты, когда он приходил в себя.

Впервые это случилось в каком-то мерно колыхавшемся поезде. Над ним, наклонясь, стояла в белом сестра милосердия, и он услышал ее радостный шепот.

- Доктор, посмотрите, он кажется очнулся. Ему лучше.

Потом опять пропуск - забвение.

Второй раз, князь пришел в себя на какой-то телеге, его куда-то везли. С обеих сторон подскочили солдаты, грубо толкали его и, повернув, сказали:

- Не стоит пули терять и без того сдохнет.

Когда они исчезли, возница испуганно пояснил.

- Это братец большевики были. Вишь, какие сумные.

- Я думаю, - объяснил князь, - это был большевистский разведывательный отряд, который наскочил, как это тогда случалось, на отступающий обоз добровольцев. В последний период гражданской войны, разбитая армия отступая, вынуждена была оставлять своих раненых и больных, так как не имела возможности их эвакуировать из-за недостатка транспорта, а также не зная, что с ними самими будет. Оставляемых офицеров снабжали одеждою и документами убитых солдат. Волконского добровольцы привезли к самой румынской границе и поместили в доме одного священника. Оставляя одежду и фальшивые документы, они все же решили нужным сообщить священнику настоящее имя князя.

- Никогда не забуду я этого священника, - не раз с нервным подергиванием лица вспоминал он. - Первое, что я от него услышал, когда очнулся, это было требование оставить его дом, так как приближались большевики и он не намерен был рисковать из-за меня жизнью. Каждый раз, когда он подходил ко мне, он повторял это требование. Через окно он указывал на гору, на вершине которой проходила румынская граница и настаивал, чтобы я туда отправился.

При всем желании, я был абсолютно не в силах этого сделать. Часто находился в каком-то полусознании, а то и совсем без него. Как долго Волконский пробыл в доме священника, он не мог сказать. Однажды, когда князь почувствовал себя крепче, к нему вошел священник и заявил:

- Не сегодня, так завтра, сюда приходят красные. Предупреждаю, больше я ждать не могу. Вам, князь, ничего не остается, как вот это, - и он протянул Волконскому заряженный наган.

- Я понимал и сам, что выхода мне нет. Взял револьвер и, понятно, вспомнил своих родителей, нашу жизнь дома в Москве, брата Шуру. "Где то он теперь, может где-либо здесь недалеко", подумал. Эта мысль, как-то ободрила меня и так захотелось жить, что я встал, как-то оделся и вышел из дома священника. Голова кружилась. Я постоял, собрался с силами и, шатаясь, дотащился до горы. Потом стал взбираться на нее. Никогда не понимал и никогда не пойму, откуда взялась у меня тогда сила, и что это за сила тогда была во мне. Я полз и полз, то срываясь, то отдыхая, то снова карабкаясь вверх. Наконец, увидел наверху солдат румынской пограничной стражи. Начал кричать и махать им рукою, чтобы обратить на себя внимание. В ответ над моей головой раздался свист пули. Не веря, что это в меня, я продолжал звать на помощь и махать рукой. В следующий момент уже не одна, а несколько пуль завизжало вокруг меня. Я понял, сорвался с места и скользая и опускаясь вниз, потерял сознание.

Там случайно подобрала Валентина Михайловича и спасла его одна замечательная женщина. В его памяти, она навсегда осталась как героиня, как святая. Она спасла ни одного только Волконского. Она ничего и никого не боялась, даже большевиков. И странно, неизвестно почему, но они ее не трогали. Князю попытка взобраться на гору не прошла даром. Он опять, в третий раз, заболел тифом на этот раз, возвратным, и долгое время был на краю могилы. Только самоотверженный уход его спасительницы вернул Волконского к жизни. Вылечив и подкрепив князя, она отправила его к своим родственникам в Киев. Они спрятали его на чердаке их дома и не позволяли выходить оттуда ни днем, ни ночью.



- Вид мой был тогда ужасный, - вспоминал Валентин Михайлович, - худой как скелет, слабый, заросший бородой. Физическая слабость отражалась и на моем душевном состоянии; запуганный, как затравленный зверь. Всякий раз, как снизу дома доносились неясные голоса, я готовился к смерти, думая, что за мною пришли чекисты. Вышел Валентин Михайлович из чердака только тогда, когда Киев заняли поляки, отогнав большевиков. Поправившись, он поступил в маленькую флотилию на Днестре, организованную тогда несколькими украинцами. Существовала она до тех пор, пока Киев занимали поляки. При отступлении польской армии, князю удалось в числе состава этой украинской флотилии, пробраться в Польшу. Там они, наряду с отступившими отрядами армии генерала Бредова, были интернированы.

\*\*\*\*\*

Итак, завтра мы идем с Михаилом Алексеевичем в театр посмотреть, как вы танцуете, - сказал Волконский, садясь близко около меня на диванчик и протягивая на его спинку руку позади меня

Я почувствовала себя неловко, словно в его объятиях: "И всегда он, как-то так сделает или скажет, что я не знаю как реагировать, - подумала я, - вот и теперь: сказать, чтобы убрал руку? - я этим подчеркну, что придаю его жесту ухаживательное значение, а ему может и в голове этого нет, просто положил руку для удобства. Молчать? - подумает: ничего против не имею, а, может, даже и поощряю".

Беспокойно ерзая, я продолжала сидеть, но, чтобы выразить какое-то недовольство, капризно проговорила:

- Я не хочу, вам совсем нечего туда ходить. Мы никакие прима-балерины. Танцуем в кор-де-балете и, среди других, вы нас и не узнаете.

- Мы, вас бы да не узнали! Хо-хо, среди тысяч вас распознаем. Цветы вам бросим, - говорили наши кавалеры.

На самом деле мне хотелось, чтобы они пришли, костюм маркизы и белый парик были очень мне к лицу. В театре шла пьеса Мольера "Мнимый Больной". Перед началом ее, мы выступали в костюмах того времени, в небольшой пасторали, поставленной нашей балетной школой.

Каждый раз, Волконский и де Вассаль ожидали нас у театра, чтобы проводить домой и провести с нами остаток вечера.

Ухаживание за мною князя носило по-прежнему игривый характер. Он словно, как кот с мышью играл со мной, расставляя на каждом шагу ловушки. Выходило это у него так просто, естественно, что не придерешься. Между нами шла скрытая, шутливая борьба. Он наступал, я оборонялась, часто уступая.

Де Вассаль был серьезнее и сдержаннее. Казалось, он относился ко мне и Леле одинаково.

Незадолго до Рождества, мне случилось возвращаться домой против обыкновения, не с

Волконским, а с де Вассалем.

- Лида, - сказал он, - я давно хотел поговорить с тобой. Ты такая живая и веселая, но я-то не Валентин, я тебя хорошо понимаю; по натуре ты серьезная и глубокая, и мне очень нравишься. Ты бы могла быть хорошей женой. Я бы даже хотел, чтобы ты согласилась выйти за меня замуж, - говорил он осторожно, видимо, мало надеясь и боясь отказа.

Я никак не ожидала услышать это от него, но его предложение, хоть и осторожное, польстило моему самолюбию и мне захотелось показать ему, какая я замечательная и недостижимая. Не подумав о серьезности, ни его слов ни моих, я сказала.

- Мишка, ты очень хороший и я тебя люблю, но "любовью брата, а может быть еще нежней", - самодовольно процитировала я, и продолжала, - но я не собираюсь теперь выходить замуж, и, кроме того, должна тебе прямо и честно сказать, да ты, наверное, и сам догадываешься, что я люблю другого... - сорвалось у меня с языка, неожиданно для самой себя. Опомившись, я замолчала, так как совсем не была уверена в том, что сказала.

- А ты все же подумай, - продолжал де Вассаль, - другой только хочет весело с тобой провести время, да позабавиться, а серьезных намерений у него нет. Он очень легкомысленно на все смотрит.

- Зная, я это знаю, но все равно, я не могу теперь поступить иначе, - продолжала я в прежнем тоне. - Миша, почему ты не поухаживаешь за Лелей. Она же красивее и лучше меня.

- У Лели красивое лицо, конечно, но ты знаешь, какой у меня тонкий вкус, и в женщине я ценю больше всего красивое телосложение, а кроме того, Лелечка немножко поверхностная, не такая глубокая, как ты, совсем, совсем не такая, - говорил де Вассаль, глубокомысленно глядя в одну точку и словно рассуждая сам с собой. Скоро однако он перешел на другую тему, делая вид, что это был ничего не значивший, случайный разговор.

На Рождество, мы устроили у себя вечер. Кавалеры наши принесли напитки, а мы с Лелей приготовили угощение. Вытянув из комода два ящика, мы перевернули их вверх дном, поставили рядом на ковре посередине комнаты, накрыли простыней и разложили поверх закуски; на раскинутых, почти на половину всей комнаты, листья пальмы повесили стеклянные шарики, бусы и другие елочные украшения. Возлежали вокруг этого "стола" и, опираясь о снятые с кресел и дивана подушки, воображали себя, чем-то вроде древних римлян. Подвыпив, танцевали, хохотали, пели соло и хором:

"Друзья нальем бокал полнее

И будем мы за счастье пить.

Вино нам дано для веселья..."

И так далее, и тому подобное.

Волконский все ближе придвигался ко мне, а де Вассаль к Леле.

Начиная с этого вечера, он стал серьезно за ней ухаживать. Попытки же Волконского к более тесному сближению со мной, принимали все более и более настойчивый характер. Дошло до того, что после одной из его выходов, я должна была ему сказать, чтобы он больше к нам не приходил.

- Лелечка, я не выдержу, я умру, просто умру, если больше не увижу, если он не придет к нам, если его не будет в столовке, - говорил я, гуляя с Лелей по дорожкам Саксонского Сада, и смахивая рукой, набегавшие слезы. Почему-то в такие минуты у меня не

оказывалось платка под рукой.

- Придет, увидишь. Что он будет делать без тебя. Не бойся. Еще замуж за него выйдешь. Вышла бы?

- Хм, конечно вышла бы, то только он... он то и думать не хочет. Ему что там... нет - это невозможно.

- Почему нет? Чем ты плохая, пусть найдет другую такую, - успокаивала меня Леля, бывшая всегда высокого обо мне мнения.

- Если бы ты знала, Лелечка, как я мучаюсь, как я мучаюсь, - продолжала я хныкать и шла шатаюсь, будто у меня ноги подкашивались от отчаяния. Делала я это умышленно, чтобы показать Леле как я страдаю. В глубине души, я все же верила, что Волконский не расстанется со мной, но мне хотелось вызвать сострадание и утешение Лели. Очевидно понимая это, она сказала:

- Ну, и любишь же ты себя мучить, и так напрасно, совсем напрасно, завтра увидишь его, а кроме того, ты же не умерла, когда рассталась с твоим художником в Киеве.

- Как ты сравниваешь, ты ничего не понимаешь, - прервала я ее возмущившись, - то было одно: физическое увлечение, а это совсем другое, - это настоящая любовь. Я и сама не знала, пока все было между нами хорошо, как я к нему привязалась и привыкла, а это хуже всего.

В столовке за нашим столом, мы сидели только втроем. Волконский не пришел. Мне показалось, что весь свет переменялся. А столовку я просто не узнала. Она сделалась, вдруг, такая неприглядная, серая. Посетители ее, прежде такие веселые, смеялись, а теперь сидели хмурые, несчастливые, как черные нахохленные вороны.

"Как это я раньше этого не замечала?" думала я удивляясь.

Михаил Алексеевич что-то монотонно и скучно говорил, что я никак не могла понять.

Вечером, как всегда, стук в дверь. Вошел один де Вассаль.

"Кончено... не пришел".

Среди каких-то слов, которые говорил де Вассаль, я вдруг расслышала.

- У меня только что был Валя. На него жалко было смотреть, такой он потерянный и несчастный, не знает, что с собой делать. Целый день ничего не ел, в столовку не решился прийти. Просил меня тебе, Лида, передать, чтобы ты его простила и позволила прийти. Он хоть и легкомысленный, но по натуре не такой уже плохой. Его только надо в руках держать, - говорил де Вассаль.

Где там я могла его в руках держать. Все, конечно, простила и все пошло по старому.

Наша квартирная хозяйка, очень религиозная вдова, пухленькая, с розовыми лоснящимися щеками и бархоткой на шее, была очень недовольна нашим поведением и шумом, который мы часто подымали.

После рождественской пирушки, когда мы в неистовом веселье, перевернули всю нашу комнату вверх дном, она заявила, что если мы не уgomонимся, то должны будем оставить ее комнату.

Перед масленицей в Варшаву приехал Неревич и зашел нас навестить. Нас не было дома, а хозяйка пригласила его к себе и наговорила таких ужасов, что Семен Гаврилович бросил все свои дела и, не повидавшись с нами, сломя голову полетел в Ромейки. На масленицу приехал перепуганный папа. Я познакомила его с Волконским. Де Вассалья тогда, почему-то не было. Я постаралась успокоить папу, уверяя его, что ничего плохого между мной и Волконским нет. Папа, как всегда, деликатный и добрый, поверил или нет, но никаких упреков не делал, а уехал, взяв с нас, однако обещание,

недели через две-три вернуться домой.

После отъезда папы у нас поднялся невероятный переполох. Я, то плакала, то целовалась с Волконским, то сердито отстранялась от него, не зная, как он поступит. Оказалось что чувство Волконского ко мне было гораздо глубже и серьезнее, чем он и сам признавал. Разойтись мы уже не смогли. Оба и Волконский и де Вассаль решили на нас жениться.

После согласия родителей и всех нужных приготовлений наша свадьба с Валентином Михайловичем была назначена на первую неделю после Пасхи. Леля и де Вассаль отложили свою до середины лета. Леля немножко колебалась. Уехали мы с ней в Ромейки в конце поста. Валентин Михайлович должен был приехать туда в Страстную Субботу вечерним поездом. Так как по дороге со станции надо было проезжать мимо церкви, то мы условились встретиться с ним у Заутрени.

\*\*\*\*\*

Пасха в Ромейках, как у нас в усадьбе, так и в деревне, была самым большим праздником в году и носила довольно своеобразный характер. Мужики ромейские постили целый пост, ходили к исповеди, а на Пасху каждый старался побывать в церкви. Сразу после Пасхальной службы, когда священник еще кропил святою водою, разложенные вокруг церкви на платках, пасхи (куличи), крашенные яйца, зажаренные поросята, то те мужики, мимо которых он уже прошел, хватали свои узелки и стремяглавы бросались к возам; вскочив на них, они со всей силой хлестали лошадей, заставляя их скакать карьером. За первыми сразу же следовали другие: начинались сумасшедшие гонки. Случалось, что в разгаре их, мужики теряли свои пасхи, узелки, переворачивали возы, а то и разбивали их. Было у них поверие, что приехавшие домой первым, будет самый богатый, а его урожай в текущем году самый хороший. Кроме того, охватывало, очевидно нетерпеливое желание поскорее разговеться - насытиться после длительной голодовки. Объявшись, почти каждый из них на первый день после пасхи болел. На второй день у ромейцев на селе начиналась попойка - "канун", - как они ее называли. Пили заготовленный ими в больших бочках "мэд" (мед): сладковатая жидкость с небольшой дозой алкоголя, а под шумок пили самогонку, тайно выгнанную ими где-нибудь в лесу.

На "кануне" ромейцы сводили накопившиеся между ними за целый год, счеты; что в этот день считалось почему-то вполне позволительным. "Почекай, почекай, хай, но приде "канун" я тебе покажу!" - угрожали они друг другу, поспорив.

И, действительно, наши горничные, побывавшие на "кануне", в панике передавали: "Ох, барышнечки, что б то вы бачили, якая бойка на кануне иде... аж страшно дивиться. Ничипор як дал в морду Ивану, так носа ему на бок и свернул, аж кровь хлещет. А Антон повалил на земл Василя и молот его сапогами, аж все зубы вывалил, хеть - все... до одного".

Со страхом слушали мы об этих пасхальных развлечениях наших ромейских мужиков. Напоминали они скорее времена языческие, когда предки их поклонялись богу Перуну, а не страдальческому образу всепрощающей любви, Христа.

Пасха у нас в усадьбе не носила особенно религиозного характера.

Хотя папа верил в Бога, а мама вечерами в кровати читала библию, но назвать их религиозными трудно было. Папа долгими годами не бывал в церкви, а когда вспоминал об этом, то с беспокойством говорил, что его могут от нее отлучить.

В нашей оторванной от общественной жизни семье, сложился с годами свой особый уклад жизни, привычки и даже обычаи. В них мы старались придерживаться общепринятых традиций, что почему-то удавалось нам не вполне.

На Пасху, хотя не все и не всегда, мы все же посещали церковь. Постили только Страстную неделю и то не всю, но проводили ее в кухне. Поминутно заглядывая в огромную кулинарную книгу, мы с увлечением растирали сахар с маслом, с желтками яиц, белки сбивали в пену, крошили орехи, миндаль, шоколад... Приготовленное тесто кухарка вставляла в открытую русскую печь. Щекочущий дух печеных куличей разносился не только по всему дому, но и по двору.

К концу недели накоплялись горы всего, а в субботу кухарка пекла индюка, поросенка, окорок, телятину и так далее. Завершал все это папа батареями водок, вин, ликеров. Можно было подумать, что готовились к приему сотни гостей.

Ничего подобного. Откуда и кому было приезжать. Зайдут только Неревичи, чтобы поздравить с праздником, похристосоваться и оценить наше кулинарное искусство. Разговлялись мы поздним утром, а не ночью. Принарядившись по праздничному, (мы девицы в новых, светлых платьях) выходили в столовую с запозданием. Попробовав всего понемногу, после чего целый день не хотелось ни на что смотреть, мы, с праздничным видом, ходили из комнаты в комнату недоумевая, чем заняться, к чему были такие большие приготовления и как полагалось бы "по-настоящему" провести этот праздник. Не найдя ответа в доме, выходили на двор.

Здесь-то в торжествующем воскресении природы к жизни и было объяснение всему. Как радостно было пройтись в первый раз после, куда-то исчезнувшего снега, по просыхающему песку дорожек. Какое чудо, какое превращение свершилось за несколько дней, проведенных нами в кухне. Ромеек не узнать: небо чистое, невинное; широкие как море, разливы воды, затопившие вокруг усадьбы все сенокосы; рокот неудержимо бегущих куда-то ручьев; легкая зыбь, шаловливо играющая по их поверхности; купола верб, уже покрытые желтым пушком; такой же пушок гусинят, неумело клюющих вылезавшую травку; гусак, изогнувший, как змея, шею; ржанье лошадей, свист, гомон птиц - все шумит, движется, все волнуется, и опьяняет как новое, неперебродившее вино. Все оживает и кричит - Весна!

Но в эту знаменательную в моей жизни весну, не только явления природы, но и наши пасхальные приготовления и все, что происходило вокруг меня и что было в душе моей, приобрело новое, для меня глубокое значение.

Вечером в Страстную субботу многие отправились в церковь. Папы тоже не было дома. Он уехал по делам в Ковель и должен был вернуться тем же поездом, что и Валентин Михайлович. Дома остались Леля и я. Закончив уборку пасхального стола, мы пригасив свет в столовой, ушли в гостиную и сели на диванчик у камина.

- Так скажи же мне теперь, почему это ты не поехала в церковь, как условилась с Валеями? Что он подумает? - спросила меня Леля, глядя на пылающий в камине огонь.

- Не знаю, сама не знаю. Я чего-то побоялась.

- Побоялась? Чего же? - удивилась Леля.

- Да нет, не то что... а когда представила себе как могло бы случиться, то мне почему-то показалось все в плохом свете.

- Что же плохого может быть там?

- Там - ничего, но со мной... Вот церковь, распухшая от гуши наполняющих ее мужиков, их широкие спины в кожухах, что еще пахнут свежее-выделанными овчинами; свитки с красными помпонами, украшающие толстые зады баб; их головы, обвитые белыми наметками - впрочем, они мне больше нравятся, чем пестрые платки девок. Дьячок с козлиной бородкой, его невнятное, как застрявшее в окне мухи, гудение псалтыря и хитро-любопытные взгляды поверх очков в нашу сторону: "Ага, вот и мы пришли помолиться". Нескладный хор учеников приходской школы.

Ко всему этот специфический мужицкий запах - какой-то прелый, тяжелый. Мы впереди на небольшом расчищенном пространстве. Я украдкой оглядываюсь, ожидаю Валю. Как это он проберется к нам? Но его не видно. Служба тянется медленно. Большие свечи чуть теплятся, а малые гаснут от передышанного, спертого воздуха. Я стою, стараюсь скрыть волнение. Вот уже иконы поднялись, хоругви зашатались и двинулись к выходу; священник сошел с амвона, за ним дьячок, хор - и крестный ход двинулся вокруг церкви. Темнота, такая густая в эту ночь, стоит: в руках у всех зажженные свечи; освещенные ими лица, выступают как оранжевые пятна на фоне фиолетовой ночи. Я вглядываюсь, ищу, - Вали нигде, не видно.

- Ну, знаешь и фантазерка же ты! Чего ради такие мрачные мысли? Совсем на тебя не похоже, брось, - прервала Леля.

- Нет, постой, вообрази: вот наконец, священник останавливается, как всегда у закрытой, входной двери церкви, поднимает крест и открывая им двери, торжественно возвещает: "Христос Воскресе из мертвых!.." - этот такой каждому знакомый и родной, как своя душа, напев. Непонятно откуда и почему налетевшая радость, светлая, охватывает всех - радость великая. А что тогда у меня на душе, что со мной, если я уже знаю наверное, что Валя не приехал? Вот я подумала так и решила, что лучше переживу я это здесь одна или с тобой, где никто не увидит и не услышит. Так, на всякий случай.

- Нехорошо, выходит, что ты сомневаешься в Вале, не веришь ему.

- Нет, я верю ему и почти знаю, что он приедет. Он все же меня любит, хоть немножко. Но я только так - от волнения.

- Да ты и сейчас вся как на угольях. И чего вертишь свое обручальное кольцо? Что оно, режет тебе?

- Нет. Машинально. По моему папа и Валя должны уж быть здесь.

- В церкви хоть немножко постоит, хоть для виду и приедут, - успокаивала меня Леля. На дороге, далеко, что-то стукнуло, но затихло. Опять, уже громче, яснее, ближе, ближе... Едут!

Стук лошадиных копыт у крыльца прозвучал эхом в моей груди. Пламя в камине колыхнулось, огненные язычки красные, желтые, синие запрыгали, заметались. Очутившись в полутемной передней вижу: дверь открывается, входит папа, а за ним пусто, темно в раскрытых дверях... О! Нет - статная, высокая фигура... он, Валя! Забыв и свои мысли и папу и Лелю и всех и все, я бросилась ему на грудь, обвивая руками шею.

[Глава 9](#)